## Момент победы

О. Генри

Перевод Зин. Львовского

Бен Грэнжер, двадцати девяти лет от роду, уже ветеран войны. Теперь нетрудно разгадать, какой именно войны. В то же время он — начальник почты и самый крупный торговец в Кадиксе, — это маленький городок, над которым постоянно веют ветерки с Мексиканского залива.

Бен помогал сбросить испанских донов с их насиженных мест на Больших Антильских островах, а затем, перешагнув через полсвета, он в роли не то капрала, не то воспитателя стал маршировать взад и вперед по раскаленным тропическим залам колледжа на открытом воздухе, в котором были вышколены Филиппины. Теперь же, переменив шашку на лавочный нож, он собирает команду своих старых товарищей в тени веранды перед своим домом, а не в непроходимых джунглях Минданао. Он всегда больше стоял за дело, чем за слова. Однако этот рассказ, который принадлежит ему, покажет нам, что ему были доступны и размышления о причинах, а также и анализ их.

— Какая причина, — сказал он мне как-то раз в лунный вечер, когда мы сидели вместе среди ящиков и бочек, — какая причина обычно заставляет людей идти на опасность, беспокойства, голод, битвы и тому подобные неприятности? Почему человек поступает так? Зачем он старается заткнуть за пояс своего ближнего, оказаться храбрее, сильнее, решительнее и отличиться больше, чем даже его лучший друг? В чем заключается его игра? Что он надеется извлечь из этого? Ясно, что он не делает это просто из любви к искусству или для того, чтобы подышать свежим воздухом. Вот, Билл, скажи мне: каково твое мнение относительно того, на что вообще рассчитывает обыкновенный человек в награду за свои старания в достижении честолюбивых планов и необычайные усилия в области торговых дел, законодательства, науки, войны, всякого спорта и театра во всех цивилизованных и варварских странах света?

— По правде сказать, Бен, — ответил я вдумчиво и серьезно, — я полагаю, что мы можем ограничить число мотивов у человека, ищущего славы, тремя: честолюбием, которое зиждится на жажде общественной похвалы; жадностью, которая интересуется материальной стороной успеха; и любовью к женщине, которую он уже или имеет, или желает получить.

Бен обдумывал мои слова в то время, как дрозд, сидящий на верхушке дерева около крыльца, прощебетал с дюжину трелей.

— Я полагаю, — сказал он, — что твое заключение исчерпывает вопрос в том случае, если следовать правилам прописной истины и исторических книжек. Но я имею в виду случай с моим приятелем Вилли Роббинсом. Если ты ничего не имеешь против, я расскажу тебе о нем до закрытия магазина.

Вилли принадлежал к нашей компании в Сан-Августино. Я служил в конторе у Бреди и Мургисона, оптовых торговцев сухой провизией и принадлежностями для сельского хозяйства. Мы с Вилли были членами одного и того же немецкого клуба, атлетического общества и военного собрания. Он был третьим участником нашей веселой компании из четырех, которая проводила вечера раза три в неделю где-нибудь в городе.

Вилли, в значительной степени, соответствовал своему имени[[1]](#footnote-1). Он весил около ста фунтов вместе со своим летним платьем, и у него всегда было такое вопросительное выражение лица, что казалось, вот-вот он обрастет пухом и перьями.

И вместе с тем молодых девушек нельзя было отгородить от него даже колючей проволокой. Всем известен этот сорт молодых людей — эта особая помесь безумца и ангела! Они кидаются стремглав и в то же время боятся ступить; но если им представляется случай ступить куда-нибудь по-настоящему, они никогда его не упустят. Он всегда оказывался тут как тут, когда наклевывалось какое-нибудь развлечение или «великое событие», как выражаются утренние газеты; в одно и то же время он казался счастливым, как король, и чувствовал себя не в своей тарелке, как сырая устрица, поданная со сладкими пикулями. Он всегда танцевал с таким видом, как будто у него связаны ноги. Лексикон его состоял приблизительно из трехсот пятидесяти слов, которых ему хватало на четырех немцев в неделю; из этого же запаса он черпал материал для разговоров во время двух званых ужинов и одного воскресного вечернего визита. Он казался мне какой-то помесью мальтийского котенка, растения «не-тронь-меня» и члена захудалого общества «Две сиротки».

Я дам тебе некоторое представление о его характере и внешнем виде, а затем приступлю к своему рассказу.

Вилли был арийцем по своей окраске и по манере держать себя. Его волосы имели молочный оттенок, а разговор был бессвязен донельзя. Глаза у него были голубые и того же оттенка, что и у фарфоровой собаки, стоящей на правой стороне камина у твоей тетки Эллен. Он очень просто относился к жизни, и я никогда не чувствовал к нему никакой неприязни.

Однажды он вздумал по уши влюбиться в Миру Аллисон, самую бойкую, веселую, остроумную, изящную и хорошенькую девушку в Сан-Августино. Я должен сказать тебе, что у нее были самые черные глаза, и самые блестящие кудри, и самая умопомрачительная... О нет, ты не попал в точку, — я не был ее жертвой. Я мог бы стать ею, но знал, что это бесцельно. Я остерегся и отступил вовремя. С самого начала победителем был Джое Гранберри. Он сразу отогнал всех остальных на пару миль.

Однажды вечером у жены полковника Спраггинса в Сан-Августино состоялась вечеринка. Для нас, кавалеров, была отведена комната наверху, где мы могли складывать шляпы и разные мелочи, также приглаживать волосы и надевать чистые воротнички, которые мы приносили с собой вложенными под подкладку шляпы. Словом, это была такая комната, которая имеется всюду, где заботятся о «светском тоне». Немного дальше по коридору находилась комната для других дел. Внизу же, в гостиной, где происходили танцы, расположились мы, то есть члены Сан-Августинского Общественного Клуба Танцоров и Весельчаков.

Вилли Роббинс и я случайно оказались в нашей гардеробной (кажется, так мы называли ее), когда Мира Аллиссон пробежала по коридору, направляясь из дамской уборной вниз. Вилли стоял перед зеркалом, поглощенный приглаживанием своей светлой шевелюры, которая, по всей видимости, причиняла ему массу хлопот. Мира всегда была полна жизни и проказ. Она остановилась и просунула голову в нашу дверь. Безусловно, она была очаровательна. Но я знал, каковы ее отношения к Джое Гранберри; знал это и Вилли; но он продолжал, как барашек за маткой, следовать за ней повсюду. У него была особая система упорства, противоречащая его светлым волосам и выцветшим глазам.

— Послушайте, Вилли! — сказала Мира. — Что вы там делаете перед зеркалом?

— Я стараюсь принять бравый вид! — ответил Вилли.

— Но вы никогда не сможете принять бравый вид! — возразила Мира с особым смехом, который показался мне самым раздражающим звуком, когда-либо мною слышанным, за исключением разве лязганья пустой кружки об мое седло.

Я взглянул на Вилли после того, как Мира ушла. У него было самое несчастное выражение лица; получилось впечатление, как будто ее замечание, если так можно выразиться, растерзало его душу. Я не заметил в ее словах ничего особенно оскорбительного для мужского самолюбия, но трудно себе представить, как был удручен мой приятель.

После того как мы, переменив воротнички, спустились вниз, Вилли ни разу не подошел к Мире. В конце концов он оказался слабохарактерным парнем, простоквашей, и я нисколько не удивился, что победа осталась за Джое Гранберри.

На следующий день было взорвано военное судно «Мэн», и очень скоро вслед за тем кто-то — не то Джо Бейли, не то Бен Тиллжан, а быть может, и само правительство — объявил Испании войну.

Все, находящиеся к югу от линии «Мэзон и Гамлин», знали, что Север сам по себе не может поколотить целую страну величиной с Испанию.

Поэтому северные янки начали взывать о помощи, а мы ответили на призыв: «Мы идем, отец Уильям! Нас сто тысяч человек, а быть может, и больше!» Так гласила наша песенка. Старые партийные разногласия, вызванные походом Шермана, и Ку-Клукс-Кланом, и девятицентовым хлопком, и трамваями Джима Кроу, исчезли сразу и бесследно. Мы превратились в единое государство, без Севера, с очень маленьким Востоком, с порядочным куском Запада и с Югом, который возвышался громадный, как первый иностранный отдельный ярлык на новеньком восьмидолларовом чемодане.

Конечно, собачья военная свора не была бы полной без лая ружей Сан-Августинской роты Д, принадлежавшей к Четырнадцатому Техасскому полку. Наш отряд, один из первых, высадился на Кубе и вселил страх в сердца неприятеля. Я не буду рассказывать тебе историю войны; я привожу эти факты только затем, чтобы сделать более понятным рассказ о Вилли Роббинсе; точно так же в свое время республиканская партия воспользовалась этим фактом для выборной агитации в 1898 году.

Если у кого-либо и когда-либо была «геройская» лихорадка, то это у Вилли Роббинса. С того момента, как он ступил ногой на землю кастильских тиранов, казалось, что он так же глотает опасность, как кот лакает сливки. Он привел в изумление всех участников нашего отряда, начиная с самого капитана. Можно было ожидать, что его будет соблазнять место ординарца при полковнике или же переписчика на пишущей машинке в канцелярии, — но ничуть не бывало! Он создал роль золотоволосого героя, который возвращается домой с победными лаврами, вместо того чтобы умереть у ног своего полковника, держа в руках важное донесение.

Наш отряд попал на тот участок Кубы, где происходила самая запутанная и наименее интересная часть похода. Каждый день мы рыскали вокруг в кустарниках и иногда схватывались с испанскими войсками, которые походили больше на добродушных мучеников, чем на что-нибудь другое. Война была забавной для нас, но для них не представляла никакого интереса. Нам всегда казалось, что это — до слез смешная комедия-фарс, и мало кто из нас искренне верил в то, что Сан-Августинский отряд в действительности сражается во имя поддержки Соединенных Штатов. А негодные маленькие сеньоры не получали достаточного жалованья, и им было совершенно безразлично: быть ли патриотами или изменниками. Иногда случалось, что кого-нибудь убивали. Это казалось мне напрасной тратой человеческой жизни. Как-то раз, когда я был в Нью-Йорке, мне пришлось побывать на Кони-Айленде и видеть, как опускающееся с холма приспособление, называемое «роллер-костер», сорвалось со своего блока и убило человека в коричневом костюме. Каждый раз, когда испанцы убивали кого-нибудь из наших, мне это казалось таким же прискорбным и ненужным фактом, как случай на Кони-Айленде.

Однако я совсем позабыл про Вилли Роббинса.

Он стремился к кровопролитиям, лаврам, отличиям, медалям, похвалам и всяким другим формам военной славы. Не было признаков, по которым мы могли бы судить, что он боится каких бы то ни было проявлений военных опасностей, кроме испанцев, пушечных ядер, консервов, пороха или непотизма. Бледноволосый, с глазами как голубой фарфор, он выступал и уничтожал испанцев так же, как ты бы стал уничтожать бутерброды с сардинками. Война и рассказы о войне его никогда не волновали. Он переносил с одинаковым хладнокровием стояние на карауле, москитов, военные сухари, голодовки и обстрелы. Я думаю, что, за исключением валета бубен и русской императрицы Екатерины, ни один блондин в истории не мог хоть сколько-нибудь с ним сравняться.

И вспоминаю, как однажды, когда мы сидели за обедом, маленький отряд испанцев появился у нас с тыла, обошел заросли сахарного тростника и застрелил Боба Тернера, фельдфебеля нашей роты. Следуя военным правилам, мы продолжали обычные приемы, стали во фронт, салютовали неприятелю, зарядили ружья и, став на колени, начали стрелять.

Это не был, конечно, техасский образ действий, но, будучи очень важным прибавлением и частью регулярной армии, Сан-Августинская рота должна была следовать всем регламентированным правилам военного искусства.

К тому времени, как мы вынули «тактику Эптопа», дошли до страницы пятьдесят седьмой, сказали «раз-два-три, раз-два-три», пару раз постреляли холостыми зарядами, испанские солдаты, вдоволь насмеявшись и накурившись, презрительно отступили назад.

Я направился прямо к капитану Флойду и сказал ему следующее:

— Я не думаю, Сэм, что эта война ведется честным образом. Вы знаете так же, как и я, что Боб Тернер был одним из лучших молодцов, которые когда-либо перекидывали ногу через седло, а теперь я нахожу, что в его смерти повинны эти начальники, которые отдают приказания по телеграфу из Вашингтона. Это неправильно. Зачем они действуют таким образом? Если они хотят, чтобы испанцы были побиты, почему они не пошлют против них Сан-Августинскую роту, отряд Джо Сили и кучку шерифов из Западного Техаса? Мы живо стерли бы их с лица земли. Мне никогда не импонировало, — сказал я, — ведение боя по правилам лорда Честерфилда. Я подам заявление о моей отставке и отправлюсь домой, если только еще кто-нибудь, с кем я лично знаком, пострадает снова в этой войне. Если вы можете заменить меня кем-нибудь, Сэм, — продолжал я, — я уеду в начале будущей недели. Я не желаю служить в армии, которая не обеспечивает ни одного шанса победы своим солдатам. А что касается моего жалованья, — сказал я, — то пусть казначей его себе оставит.

— Ладно, Бен, — ответил мне капитан, — ваше мнение на этот счет и оценка военной тактики, действий правительства, патриотизма и демократизма, может быть, и правильны, но я изучил систему международных отношений и этику законных избиений немного глубже вашего. Это тоже может быть. Вы можете подать мне заявление об отставке в начале будущей недели, если вам угодно. Но если вы так поступите, — сказал Сэм, — я прикажу капралу отвести вас к одному известняковому утесу у залива и всадить в вас свинец в таком количестве, которого вполне хватило бы для балласта подводного дирижабля. Я — капитан роты и в свое время присягнул в верности Соединенным Штатам, не принимая во внимание секционных, конгрессных и прочих разногласий. Нет ли у вас табаку? — закончил свою речь Сэм. — Мой промок в то время, как я утром плавал в заливе.

Причина, почему я привожу весь этот разговор non ех parte, та, что Вилли Роббинс стоял рядом с нами и слушал. Я был вторым сержантом, а он простым рядовым, но у нас никогда не было такой дисциплины и субординации, как в регулярной армии. Мы никогда не называли нашего капитана иначе, как «Сэмом», — за исключением тех случаев, когда вокруг толпилось множество генерал-майоров и адмиралов, для которых надо было поддерживать дисциплину.

Вилли Роббинс заговорил со мной резким голосом, совсем не подходившим к его светлым волосам и прежней характеристике.

— Тебя следовало бы расстрелять, Бен, за выражение подобных чувств. Человек, не желающий сражаться за свою родину, хуже, чем конокрад. Будь я капитаном, я посадил бы тебя на гауптвахту на тридцать дней на хлеб и на воду. Война, — сказал Вилли, — есть великая и замечательная вещь. Я не знал, что ты трус.

— Я не трус, — ответил я, — иначе я бы снял немного бледности с твоего мраморного лба. Я снисходителен к тебе, — сказал я, — так же точно, как и к испанцам, потому что ты всегда напоминал мне гриб, который в простонародье именуется поганкой. Ах ты, маленькая леди Шалотт, недопеченный дирижер котильонов, желторотый, недоношенный молокосос. Знаешь ли ты, о ком говоришь? Мы принадлежали с тобой к одной компании, — продолжал я, — и я ладил с тобой до сих пор только потому, что ты всегда казался таким тихим и непритязательным человеком. Я никак не пойму, с какой стати ты вдруг так преисполнился страсти к героизму и убийствам? В тебе произошел полнейший переворот. В чем дело?

— Ты никогда не поймешь меня, Бен, — ответил Вилли, улыбнувшись своей тонкой улыбкой, и повернулся с тем, чтобы уйти.

Но я схватил его за фалды мундира цвета хаки.

— Поворачивай назад, — сказал я, — ты меня вывел из себя, хотя я до сих пор считал, что не стоит обращать на тебя внимания. Ты хочешь отличиться в этом предприятии, и я полагаю, что мне известна причина твоего поведения. Ты так поступаешь или потому, что спятил с ума, или надеешься таким способом завоевать себе сердце одной девушки. В случае, если тут замешана девушка, я могу тебе кое-что показать.

Я бы так не поступил, если бы не был доведен буквально до белого каления. Я вытащил из кармана брюк номер сан-августинской газеты и показал ему один столбец. Это было описание свадьбы Миры Аллисон и Джое Гранберри.

Вилли засмеялся, и я увидел, что это его ничуть не задело.

— Все знали, — сказал он, — что это должно случиться. Я об этом слышал неделю тому назад. — И он снова засмеялся.

— В таком случае, — возразил я, — зачем гоняться сломя голову за славой? Не рассчитываешь ли ты, что тебя изберут в президенты? Или, быть может, ты принадлежишь к Клубу Самоубийц?

Тут капитан Сэм вмешался в наш разговор.

— Господа, перестаньте чесать языки и возвращайтесь восвояси! — сказал он. — Или мне придется препроводить вас обоих на гауптвахту. Проваливайте оба. Перед тем, как уйдете, сообщите мне, у кого из вас найдется немного жевательного табаку?

— Мы уходим, Сэм, — ответил я, — к тому же, теперь пора ужинать. Но что вы сами думаете относительно того, о чем мы говорили? Я заметил, что и вы немало гоняетесь за славой. Что такое честолюбие? Зачем человек ежедневно рискует своей жизнью? Разве вы уверены в том, что в конечном итоге он может получить нечто, искупающее все его старания? Я лично хочу вернуться домой. Мне безразлично, будет ли Куба плавать или пойдет ко дну, и я не дам щепотки табаку за то, будет ли править этими благословенными островами королева София-Христина или Чарли Кульберсон. Я желаю видеть свое имя исключительно в списке оставшихся в живых, и никаких других списков мне не нужно. Но я заметил, что вы, Сэм, множество раз бежали за колесницей изменчивой славы. Ну, скажите: зачем она вам нужна? Для чего вы геройствуете? Ради честолюбия, коммерции или какой-нибудь веснушчатой Фебы, ожидающей вас дома?

— Видите ли, Бен, — ответил Сэм с таким видом, будто он вытаскивал меч, находившийся между его колен, — как старший офицер, я мог бы вас предать военному суду за трусость и попытку к дезертирству. Но я так не поступлю. Я скажу вам, зачем я добиваюсь повышений и других военных отличий. Майор получает больше жалованья, чем капитан, а мне нужны деньги.

— Вот это правильно! — сказал я. — Вот это я понимаю. Ваши поиски славы основаны на самом глубоком патриотизме. Но вот чего я не могу понять, — продолжал я, — почему это Вилли Роббинс, родители которого люди со средствами и который был до сих пор такой тихоня и так же не желал обращать на себя внимания, как кошка, у которой на усах еще не обсохли сливки, — почему он вдруг обратился в храброго вояку с самыми боевыми наклонностями? Ведь в этом случае исключается девушка, так как она вышла замуж за другого. Я полагаю, — сказал я, — что это случай явного честолюбия. Возможно, он хочет, чтобы его имя, покрытое славой, перешло в потомство. Вот, должно быть, единственная причина!

Не перечисляя подробно его подвигов, можно констатировать, что Вилли, безусловно, удалась роль героя. Он проводил большую часть своего времени на коленях, умоляя нашего капитана посылать его в атаку и в самые опасные разведочные экспедиции. В каждом бою он шел всегда впереди всех и страшно полюбил драться с Донами Альфонсами врукопашную. Три или четыре пули попали в различные части его тела. Однажды он отправился на разведку с отрядом в восемь человек и взял в плен целую роту испанцев. Капитан Флойд был по горло занят посылкой донесений в главный штаб с описанием его храбрых поступков, вследствие чего Вилли начал набирать медали за разные разности, — за героизм, за стрельбу в цель, за доблестные поступки и за исполнительность, — словом, за все те маленькие таланты, которые так нравятся третьим помощникам секретарей военного министерства.

В конце концов капитана Флойда произвели в генерал-майоры, или в какие-то там командиры главного стада, или что-то в этом роде. Он гарцевал вокруг нас на белом коне, разукрашенный золотым шитьем и петушиными перьями, и со шляпой, как у тамплиера, и он не мог уже, согласно уставу, с нами разговаривать. А Вилли Роббинса произвели в капитаны нашей роты.

Может быть, вы думаете, что он после этого перестал стремиться к венцу славы? Ничего подобного! На мой взгляд, это он привел войну к победоносному концу. Восемнадцать человек из нас, — и все его друзья! — были убиты в боях, которые он затевал по собственному почину и которые мне казались совсем ненужными. Однажды ночью он взял с собой двенадцать человек и вброд перешел через маленький ручей, шириной приблизительно в сто девяносто ярдов, затем перелез через пару гор, пробрался через густой кустарник, тянувшийся на протяжении мили, перемахнул еще через пару каменоломен и, наконец, пришел в жалкую деревушку, где взял в плен генерала по имени Бенни Видус. С моей точки зрения, овчинка выделки не стоила, так как Бенни оказался черненьким человеком без манжет и башмаков, мечтавшим только о том, чтобы сдаться в плен.

Но это дело было для Вилли той рекламой, которой он так жаждал. Сан-августинские «Новости», а затем газеты Гальвестона, Сент-Луиса, Нью-Йорка и Канзаса напечатали его фотографию и посвятили ему целые столбцы. Старый Сан-Августино прямо помешался на своем «доблестном сыне». «Новости» поместили передовицу, в которой слезно умоляли правительство отозвать действующую регулярную армию и национальную гвардию и предоставить Вилли продолжать войну единолично. Там говорилось, что отказ в этом будет рассмотрен как доказательство того, что антагонизм между Севером и Югом теперь так же силен, как и прежде.

Если бы война не закончилась достаточно скоро, я не знаю, до каких пределов славы и золотых нашивок дошел бы Вилли, — но она закончилась. Прекращение враждебных действий произошло через три дня после производства Вилли в полковники; за эти дни он умудрился получить по почте еще три медали в заказных посылках и застрелить еще двух испанцев в то время, как, находясь в засаде, несчастные пили лимонад.

Как только война окончилась, наша рота вернулась в Сан-Августино. Больше ей некуда было деваться. И что же ты думаешь? По почте, телеграфом, специальной эстафетой и через негра, по имени Саул, приехавшего на сером муле в Сан-Антоне, город уведомил нас, что он собирается устроить в нашу честь величайший фестиваль, какой когда-либо знали окрестности, причем во главу угла одновременно были выдвинуты патриотические и кулинарные задачи.

Я сказал «в нашу честь», но все это пиршество предназначалось для Вилли Роббинса, бывшего рядового, исполнившего de facto свои обязанности капитана и, наконец, произведенного в полковники. Город сошел с ума по нем. Жители известили нас, что прием, который они нам окажут, низведет знаменитый карнавал в Новом Орлеане до степени five o'clock'a в церковном доме Бюри Сант-Эдлонде.

Наша рота прибыла домой, ни на час не запоздав против расписания. Весь город был около станции, оглашая воздух демократическими рузвельтовскими возгласами, которые когда то именовались «революционными». Были два духовых оркестра, мэр и воспитанницы школ, одетые в белое и пугавшие лошадей тем, что бросали в нас чирокезскими розами и... Впрочем, возможно, что тебе приходилось видеть празднества в подобных провинциальных городках.

Горожане пожелали, чтобы полковник Вилли проследовал до арсенала в коляске, в которую впрягутся именитые граждане и некоторые из членов мэрии, но герой остался со своей ротой и во главе ее продолжал маршировать по Сэм-Остен-авеню. Здания по обе стороны улицы были покрыты флагами и зрителями, и все кричали: «Роббинс!», или: «Здравствуй, Вилли!», когда мы проходили по четыре человека в ряд. Я никогда в жизни не видал человека, имеющего более бравый вид, чем Вилли. На его мундире хаки было, по крайней мере, семь или восемь медалей и знаков отличия, а загорел он до такой степени, что был одного цвета с седлом.

Нам сказали на станции, что мэрия будет иллюминована в половине восьмого и что главные речи начнутся в «Палас-отеле»; мисс Дельфина Томпсон должна была прочесть поэму, написанную Джемсом Уиткомбом Рианоль, а констебль Хукер обещал салютовать нам из девяти пушек, которые он случайно реквизировал в этот день.

После того как в арсенале всех нас распустили по домам, Вилли обратился ко мне со следующими словами:

— Не прогуляешься ли ты немного со мной?

— Ладно! — сказал я. — Если это только не так далеко, что мы вовремя услышим, когда прекратятся все эти возгласы и вообще вся сумятица. Я голоден и мечтаю о домашнем обеде. Но все равно я пойду с тобой.

Вилли повел меня боковыми улицами, пока мы не пришли к маленькому белому коттеджу, который, очевидно, был недавно построен и перед которым была разбита лужайка размером двадцать на тридцать футов, украшенная черепками и старыми досками от бочек.

— Остановись и скажи мне, в чем дело? — сказал я Вилли. — Разве ты не знаешь, что это за строение? Это гнездышко, построенное Джое Гранберри перед тем, как он женился на Мире Аллисон. Зачем ты идешь туда?

Но Вилли уже открыл калитку. Он прошел по усыпанной кирпичами дорожке до ступеней, и я последовал за ним. Мира сидела в качалке на веранде и шила. Ее волосы были наспех зачесаны назад и жгутом лежали на затылке. Я впервые заметил, что у нее веснушки. Джое стоял сбоку около веранды, без пиджака, без воротничка и небритый и старался проделать отверстие среди обломков кирпичей и жестянок, чтобы посадить маленькое фруктовое деревце. Он поднял голову и взглянул на нас, но не промолвил ни единого слова. Молчала также и Мира.

Вилли, безусловно, выглядел очень шикарно. Грудь его была покрыта медалями, а сбоку болталась сабля с золотой рукояткой. Никак нельзя было узнать в нем того маленького, белобрысого дурачка, который всегда был у девушек на побегушках и над которым те неизменно потешались. Он постоял с минуту, глядя на Миру со своей особенной, легкой улыбочкой, затем обратился к ней очень медленно, как будто отчеканивая каждое слово:

— О, я не знаю! Быть может, я бы и мог, если бы захотел!

Ничего больше не было сказано. После этого Вилли приподнял свою фуражку, и мы ушли.

Когда он произнес это, я вдруг вспомнил танцевальный вечер, затем Вилли, приглаживающего себе волосы, и Миру, просунувшую в дверь голову, чтобы подразнить его.

— Ну, до свидания, Бен. Я иду домой, сниму сапоги и немного отдохну.

— Что ты! — сказал я. — Что с тобой случилось? Разве мэрия не набита битком людьми, дожидающимися, чтобы приветствовать героя? А два духовых оркестра? а речи? а флаги? а угощение, которое затем тебе предстоит?

Вилли вздохнул.

— Ну, ладно, Бен! — сказал он. — Честное слово, я позабыл про все это.

— И поэтому-то я утверждаю, — сказал в заключение Бен Грэнжер, — что нельзя точно сказать, где начинается честолюбие, как нельзя сказать и того, где оно кончается.

1. Робин — по‑английски означает птицу‑реполова. [↑](#footnote-ref-1)